

Н. П. Огареву

В этой книге больше всего говорится о двух личностях. Одной уже нет, — ты еще остался, а потому тебе, друг, по праву принадлежит она.

И с к а н д е р

1 июля 1860.

Eagle's Nest Bournemouth

Многие из друзей советовали мне начать полное издание «Былого и дум», и в этом затруднения нет, по крайней мере относительно двух первых частей. Но они говорят, что отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают. Я чувствую, что это правда, — но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок — дело не трудное; но все переплавить, *d'un jet*¹, я не берусь.

«Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений — мне бы не хотелось стереть его.

Это не столько записки, сколько исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из былого, там-сям остановленные мысли из дум. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей единство есть, по крайней мере мне так кажется.

Записки эти не первый опыт. Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир — я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла; я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей!

¹ сразу (*фр.*).

В сущности, это был чуть ли не самый «чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности»¹. И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные мелким шрифтом; я был горд и счастлив ими, я ими рос. Тем не менее разлука мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту *вечность* — каких-нибудь *четырёх* месяцев... Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны... потом прошедшее потонуло в свете настоящего.

В 1840 Белинский прочел их, они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью), остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки.

Прошло *пятнадцать лет*², «я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа; знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили, и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить.

...А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина.

Я решил писать; но одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаля молодости, тюрьма и ссылка — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь».

¹ См. «Тюрьма и ссылка». (Прим. А. И. Герцена.)

² Введение к «Тюрьме и ссылке», писанное в мае 1854 года. (Прим. А. И. Герцена.)

Этот раз я писал не для того, чтобы выиграть время, — топиться было некуда.

Когда я начинал новый труд, я совершенно не помнил о существовании «Записок одного молодого человека» и как-то случайно попал на них в British Museum¹, перебирая русские журналы. Я велел их списать и перечитал. Чувство, возбужденное ими, было странно: я так ошутительно увидел, насколько я состарелся в эти пятнадцать лет, что на первое время это потрясло меня. Я играл еще тогда жизнью и самим счастьем, как будто ему и конца не было. Тон «Записок одного молодого человека» до того был розен, что я не мог ничего взять из них; они принадлежат молодому времени, они должны остаться сами по себе. Их утреннее освещение нейдет к моему вечернему труду. В них много истинного, но много также и шалости; сверх того, на них остался очевидный для меня след Гейне, которого я с увлечением читал в Вятке. На «Былом и думах» видны следы жизни и больше никаких следов не видеть.

Мой труд двигался медленно... много надобно времени для того, чтобы *иная* быть отстоялась в прозрачную думу — неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть *истины!*

Несколько опытов мне не удалось, — я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности мои последние тетради, я сам узнал знакомые черты и остановился... труд мой был кончен!

Очень может быть, что я далеко переценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много только *для меня одного*; может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи... может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться.

Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие: это — седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем.

¹ Британском музее (*англ.*).

В монахе, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко... иногда слишком широко... Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить: и розы, и снег; им хотелось бы, чтоб около спелых гроздьев винограда вились майские цветы! Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть *труд*. Труд — наша молитва. Быть может, что *плод того и другого* будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь.

Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность еще не имела, то *уже* утрачено; о чем юность мечтала, без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева.

...Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под *пятьдесят лет*, стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье *Грютли* на Воробьевых горах было не *тридцать три* года тому назад, а много — три!

Жизнь... жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметен беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около... и нет нам больше дороги на родину... одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела!

Пусть же «Былое и думы» заключат счет с личной жизнью и будут ее оглавлением. Остальные *думы* — на дело, остальные *силы* — на борьбу.

Таков остался наш союз...
Опять одни мы в грустный путь пойдем.
Об истине глася неутомимо, —
И пусть мечты и люди идут мимо!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Детская и университет (1812—1834)

Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу,
И грусть и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть.

Н. О г а р е в. «Юмор»

ГЛАВА I

Моя нянюшка и La Grande Armée¹. — Пожар Москвы. — Мой отец у Наполеона. — Генерал Иловайский. — Путешествие с французскими пленниками. — Патриотизм. — К. Кало. — Общее управление именем. — Раздел. — Сенатор

... — Вера Артамоновна, ну расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву, — говаривал я, потягиваясь на своей кровати, обшитой холстиной, чтоб я не вывалился, и заветываясь в стеганое одеяло.

— И! что это за рассказы, уж столько раз слышали, да и почитать пора, лучше завтра пораньше встанете, — отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне — его слушать.

— Да вы немножко расскажите, ну, как же вы узнали, ну, с чего же началось?

— Так и началось. Папенька-то ваш, знаете, какой, — все в долгий ящик откладывает; собирался, собирался, да вот и собрался! Все говорили, пора ехать, чего ждать, почитай, в городе никого не оставалось. Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают, как вместе ехать, то тот не готов, то другой.

¹ Великая армия (фр.).

Наконец-таки мы уложились, и коляска была готова; господа сели завтракать, вдруг наш кухмист взошел в столовую такой бледный, да и докладывает: «Неприятель в Драгомиловскую заставу вступил», — так у нас у всех сердце и опустилось, сила, мол, крестная с нами! Все переполошилось; пока мы суетились да ахали, смотрим — а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом сзади. Заставы все заперли, вот ваш папенька и остался у праздника, да и вы с ним; вас кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такие были щедушные да слабые.

И я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне.

— Сначала еще шло кое-как, первые дни то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают, нет ли выпить; поднесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут да еще делают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны, дом загорелся; вот Павел Иванович¹ говорит: «Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные», — пошли мы, и господа и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть — добрались мы наконец до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда, думаем, там останемся сохранны; сели, пригорюнившись, на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись ватага солдат, препьяных, один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак да по лицу его и хват, так у них до кончины шрам и остался; другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли-де каких ассигнаций или брильянтов, видит, что ничего нет, так нарочно, озорник, изодрал пеленки, да и бросил. Только они ушли, случилась вот такая беда. Помните нашего Платона, что в солдаты отдали, он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже; повязал себе саблю, так и ходил. Граф Ростопчин всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил

¹ Голохвастов, муж меньшей сестры моего отца. (Прим. А. И. Герцена.)

себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собой, но только Платон стремглав бросился к нему, уцепившись за поводья, сказал: «Лошадь наша, я тебе ее не дам». Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен; барин сам видел и закричал ему: «Оставь лошадь, не твое дело». Куда ты! Платон выхватил саблю да как хватит его по голове, драгун-то и покачнулся, а он его еще да еще. Ну, думаем мы, теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив; лошадь его стоит, ни с места, и бьет ногой землю, словно понимает; наши люди заперли ее в конюшню, должно быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее, измученные, не евши, взосли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди с улицы кричат: «Выходите, выходите, огонь, огонь!» — тут я взяла кусок равендюка с бильярда и завернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их набольшой жил в губернаторском доме; сели мы так просто на улице, караульные везде ходят, другие, верховые, ездят. А вы-то кричите, надеждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка, она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас — и прямо к ним, показывает: маленькому, мол, *манже*¹; они сначала посмотрели на нее так сурово, да и говорят: «Алле, алле»², а она их ругать, — экие, мол, окаянные, такие, сякие, солдаты ничего не поняли, а таки вспрынули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные дома, так до самого вечера пробыли мы одни; сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин и с ним какой-то офицер...

Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою брандмайорскую должность, встретил

¹ ешь (от фр. manger).

² Ступай (от фр. aller).

у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы, он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав *la sua doice favella*¹, обещал переговорить с герцогом Тревизским и предварительно поставить часового в предупреждение диких сцен вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и леванский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу.

Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец — поклонник приличий и строжайшего этикета — явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов.

Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского.

После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны императору.

Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.

¹ милую родную речь (*ит.*).

— Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина, — будет им война.

После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы.

— Я пропусков не велел никому давать, зачем вы едете? чего вы боитесь? я велел открыть рынки.

Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь на Тверской площади среди неприятельских солдат не из самых приятных.

Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спросил:

— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? на этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.

— Я принял бы предложение вашего величества, — заметил мой отец, — но мне трудно ручаться.

— Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?

— Je m'engage sur mon honneur, Sire¹.

— Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?

— В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем.

— Герцог Тревизский сделает что может.

Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль.

Пожар достиг в эти дня страшных размеров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносимым от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате, озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такою шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона: Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал кабалистическим словом; «Москва»; в Москве догадался и он.

¹ Ручаюсь честью, государь (фр.).

Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано: «A mon frère l'Empereur Alexandre»¹.

Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен московским обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винценгероде и Иловайский IV.

Винценгероде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург.

— Что делать с вашими? — спросил казацкий генерал Иловайский, — здесь оставаться невозможно, они здесь не вне ружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела.

Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение, но заметил притом, что у него с собою нет ни копейки денег.

— Сочтемся после, — сказал Иловайский, — и будьте покойны, я даю вам слово их отправить.

Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближнего города с партией французских пленников, под прикрытием казаков; он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог, в суете и тревоге военного времени.

Таково было мое первое путешествие по России; второе было без французских уланов, без уральских казаков и военнопленных, — я был один, возле меня сидел пьяный жандарм.

Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо, отец мой сказал о своем чест-

¹ Брату моему императору Александру (фр.).